

Нужно сказать, что рассматриваемый словарь А. Карнуа следует признать работой преждевременной и недостаточно основательной. Мы присоединяемся к отзывам Гумберта и Лежена об этом словаре, хотя и не разделяем всей резкости их суждений. Несомненно, что словарь сыграет свою положительную роль в плане задач, поставленных автором (см. выше). Но работа с этим словарем требует очень большой осторожности.

Л. А. Гиндин

J. Gonda. The character of the Indo-European moods. With special regard to Greek and Sanskrit. — Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1956. VIII+211 стр.

Тема рассматриваемой книги важна не только для изучения индоевропейских языков, но и для общего языкознания, так как по вопросу о значении грамматической категории наклонения все еще существуют разнообразные мнения.

Во введении и двух последующих главах Дж. Гонда обращается к взглядам своих предшественников, отмечая прежде всего два момента.

1. Создатель индоевропейского синтаксиса Б. Дельбрюк полагал, что различие субъюнктива и опитатива в индоевропейском языке было связано с различием в выражении воли и желания. В понимании слов «воля» и «желание» Дельбрюк опирался на философа П. Ф. Гербарта¹. При этом, устанавливая значение опитатива и субъюнктива, Б. Дельбрюк исходил из категорий и понятий современного мышления, модернизировал древнейшее сознание.

Поэтому в дальнейшем многие ученые выступили против его мнения. Они или вообще отрицали древность форм опитатива и субъюнктива (например, Х. Недерсен), или полагали, что первичное значение этих форм не имеет ничего общего с наклонением, а является чисто временным: субъюнктив и опитатив представляют собой разные типы будущего времени (Гудвин, Хирт, А. Хан и др.). При этом они обычно допускали, будто значение времени является исходным, первичным по сравнению со значением наклонения, т. е. будто в системе глагола временные различия обязательно предшествуют всем остальным.

2. Усилия ученых были направлены в основном на то, чтобы собрать как можно больше разных случаев употребления форм того или иного наклонения, составить список частных значений, которые эти формы получают в различных контекстах, а затем установить, какое из этих значений является хронологически первичным. Так как надежных языковых данных для этого нет, то приходилось обращаться к общим соображениям (что из чего скорее может получиться: значение будущего времени из значения возможности или наоборот и т. д.). При этом опять-таки к языку древнейшего периода применялись категории современного мышления.

Дж. Гонда выступает против подобного подхода. В главе II на примере большого числа неиндоевропейских языков он показывает, что наличие временных различий, и в частности форм будущего времени, отнюдь не является обязательным и повсеместным фактом: «категория времени зачастую отсутствует или является „нечистой“ (т. е. смешана с видом. — П. М.), или представляет собой результат сравнительно позднего развития. Поэтому нет особых оснований считать самоочевидным существование специальных форм будущего времени в доисторической глагольной системе и. е. праязыка» (стр. 22). Эта мысль развивается в главе III, где вскрываются особенности архаического восприятия времени, закрепленные в языке (отсутствие абстрактного представления о времени: нем. *Zeit* и голл. *tijd* «время» — англ. *tide* «прилив и отлив», ср. *eventide* «вечерняя пора»; нем. *Mal* «раз» — нем. *Mahl*, англ. *meal* «еда»; гот. *heila*, нем. *Weile* «время, промежуток времени» — лат. *qui-es* «покой», русск. *по-чи-ть*; неразличение будущего и прошедшего: санскр. *tatra*, греч. *πότε* и *τότε*, англ. *then* и русск. *тогда* — все одинаково могут употребляться по отношению к будущему и прошедшему и т. д.).

Исходя из этого, Дж. Гонда видит свою задачу не в том, чтобы выяснять хронологические отношения между значениями какой-либо формы, а в том, чтобы «сосредоточить все усилия на проблеме существенного значения категории, лежащего в основе всех ее употреблений, которые следует рассматривать как частные случаи этого центрального значения, обусловленные контекстом, ситуацией, лексическим значением глагола и тому подобными факторами» (стр. 69).

Иначе говоря, Дж. Гонда ищет то, что Р. Якобсон называет «общим значением» (*Gesamtbedeutung*) категории: не сумму значений в отдельных конкретных употреб-

¹ Взгляды П. Ф. Гербарта иллюстрируются таким примером: «Наполеон проявлял волю, когда был императором; Наполеон изъявлял желания, когда находился на Св. Елене...» (стр. 48).

лениях, а то о б щ е е, что есть во всех них, т. е. значение, которое категория получает в системе из противопоставлений с другими категориями. Такой подход к изучению индоевропейских наклонений представляется в известной степени оправданным. Нужно только отчетливо помнить, что полученное таким образом общее значение вовсе не обязательно должно быть исторически исходным.

С описанной выше точки зрения Дж. Гонда анализирует традиционно выделяемые наклонения: инфинктив, опатив и субъюнктив. Индикатив специально не рассматривается; однако мимоходом автор протестует против принятого противопоставления индикатива как «объективного» наклонения субъюнктиву и опативу как «субъективным» наклонениям, выражающим «настроение», «расположение» говорящего: «индикатив выражает тот факт, что говорящий рассматривает процесс — т. е. акт, действие, событие... — как реальный или актуальный. Однако, как правило, говорящий не осознает «субъективный» характер высказывания, глагол которого стоит в индикативе» (стр. 3).

Инфинктив рассматривается в главе IV. Вокруг этой встречающейся в Ригведе и Авесте формы, иначе называемой «безаугментный аорист» (тип **bheret*), идут споры. Ее пытаются трактовать то как прошедшее, то как будущее время, то как «несобственный субъюнктив» и т. д. Это объясняется исключительным многообразием ее функций и употреблений, что вызывает разнобой при переводе этой формы на западные языки.

Дж. Гонда пришел к выводу (в согласии с Е. Куриловичем и Л. Рену — стр. 36, 37), что сущность инфинктива — в полном отсутствии временной и модальной характеристики, т. е. его значение — понятие чистой глагольности, чуждое всякой категории.

Преимущественное наличие форм инфинктива в Ригведе и Авесте объясняется религиозно-магическим характером этих текстов (действия, приписываемые сверхъестественным силам, совершаются вне времени).

Падение инфинктива Дж. Гонда считает «не чисто лингвистическим процессом, но скорее явлением социально-языкового порядка» (стр. 37): «развитие цивилизации» (кавычки автора), практическая жизнь потребовали от говорящих более точной временной и модальной характеристики действия, и другие формы пришли на смену такому образованию, как инфинктив, недифференцированному и безразличному к времени и наклонению.

Глава V посвящена опативу. При исследовании опатива затруднения вызывают прежде всего его так называемые «вторичные» окончания. Эти окончания характерны еще для инфинктива, аориста и имперфекта и рассматриваются как показатели прошедшего времени. Для объяснения их присутствия в опативе выдвигались разные гипотезы [например, такая: вторичные окончания опатива связаны с «отдаленностью» (*remoteness*) этого наклонения, с присущим ему значением своеобразного «отдаленного будущего»!].

Дж. Гонда, очевидно, правильно решает вопрос об окончаниях опатива. Он полагает, что в период образования опатива вторичные окончания, лишённые временного значения, были нейтральными показателями лица и залога.

Что же касается основного значения этого наклонения, то оно, по мнению автора, таково: действие, выраженное глаголом в опативе, может и не осуществиться; оно может быть желаемым или рекомендуемым, вероятным, предполагаемым или мнимым, — во всяком случае, его осуществление проблематично.

Исходя из этого значения, Дж. Гонда рассматривает собранный на 15 страницах материал и объясняет самые различные случаи употребления опатива. Вот, например, авест. *yavata xšayōit* (опатив) *yimo* «когда царствовал Йима»; здесь автор так объясняет опатив: «говорящий не может или не хочет рассматривать данный процесс как актуальный; он лично не знаком с царствованием Йимы и хочет быть осторожным в своем высказывании... Значение опатива в этой фразе приблизительно таково: «Когда, как предполагают (думают, говорят и т. д.), царствовал Йима...». «*Yavata* может сопровождаться и индикативом» (стр. 66). Так разбираются еще десятки других примеров.

В главе VI исследуется субъюнктив. Не вдаваясь в запутанный спор о том, какое из многочисленных значений субъюнктива является исходным, Гонда устанавливает для него такую «общую функцию»¹: употребляя глагол в субъюнктиве, «говорящий рассматривает действие как существующее только в его уме; другими словами, субъюнктив выражает представление. Глагол в субъюнктиве обозначает мысленный образ действия, которое, по мнению говорящего, может осуществиться... Но ожидает ли говорящий этого осуществления, желает или боится его, надеется на него, стремится к нему или

¹ То, что автор называет в данном случае «общей функцией», можно было бы, по терминологии Р. Якобсона, считать «общим значением». Вообще целый ряд терминов — и в первую очередь такие, как «функция», «значение», «употребление», — используются в работе Дж. Гонды без достаточно строгого определения и разграничения, что приводит иногда к нечеткости изложения.

просто видит его своим мысленным взором, — к этому субъюнктив безразличен. Всякое уточнение — желание, побуждение, предчувствие и т. д. — зависит от контекста... Ведь то, что мы называем „субъюнктив“, есть только обобщение некоторых моментов, присущих целому ряду индивидуальных форм, каждая из которых имеет свое значение и употребление» (стр. 70—71).

Последующие тридцать с лишним страниц отводятся разбору материала, в основном древнеиндийского и греческого. Опираясь на данную выше формулировку общего значения субъюнктива, Дж. Гонда толкует различные случаи его употребления.

Так, легко объясняется развитие у субъюнктива значения будущего времени; ведь действие в будущем — это «мысленный процесс». Или использования субъюнктива в гомеровских сравнениях: «как лев ломает (ἀξῆ — субъюнктив) шею коровы, так...». Здесь для сравнения привлекается мысленное, воображаемое действие; но это же действие можно представить себе и как реальное — тогда в сравнении употребляется индикатив. Субъюнктив часто встречается в утверждениях общего характера, так как там действие может мыслиться как воображаемое [например, ведич. *yá jāti* «(каждый), кто почитает...»]. И так далее.

Любопытно, что в ряде неиндоевропейских языков существуют глагольные формы, которые в общих чертах соответствуют по значению индоевропейскому субъюнктиву и совпадают с ним по употреблению (стр. 107—109). Подобные типологические сопоставления могут оказаться очень полезными, особенно при анализе значения той или иной грамматической категории, т. е. там, где связь языка и мышления выступает в наиболее явной форме. Особый раздел данной главы (стр. 109—116) посвящен вопросу о форме ведического субъюнктива и его связи с инъюнктивом. Сопоставляя субъюнктив с оптативом, Дж. Гонда делает общий вывод: субъюнктив выражает действие, которое говорящий уже как бы мысленно видит; а оптатив — действие, которое говорящий считает возможным и только.

Глава VIII посвящена функции так называемых «модальных частиц» (греч. *καί* и *ἄν*, гот. *an*, лат. *an*), которые являются, по мнению автора, элементами, ограничивающими и уточняющими смысл высказывания с точки зрения отношения к нему говорящего (говорящий может подчеркивать все высказывание или его часть, выражать свое сомнение или удивление, допускать высказанный факт с некоторыми оговорками и т. д.) — стр. 133).

В главе IX подробно изучается строение условных предложений в индоевропейских языках (привлечен и неиндоевропейский материал); в частности, рассматриваются греческие предложения с *εἰ* [*εἰ*] сопоставляется с готским *ei* и считается местным падением мужского или среднего рода указательного местоимения **e/o* «этот»; таким образом, первоначальное значение этого союза было «при том, что», «в том (случае)», «по отношению к тому» (стр. 167); условное значение является вторичным]. И, наконец, в главе X рассматривается запретительная частица **mē* и различные конструкции с ней.

К сожалению, в книге так и не дается совершенно ясного ответа на вопрос: существовали ли наклонения с теми значениями, которые им приписывает автор, уже в индоевропейском праязыке? Из самого изложения как будто вытекает, что Дж. Гонда отвечает на этот вопрос положительно. Однако для такого вывода его материал, ограниченный в общем древнегреческим и древнеиндийским языками, является недостаточным: лингвистика давно отказалась от несложного метода возводить в ранг праязыковых явления, засвидетельствованные только в двух-трех отдельных языках. Правда, возможно, что автор ставил своей задачей не проникновение в эпоху праязыка, а установление основных значений категории наклонения только в древнегреческом и древнеиндийском. Однако и в этом случае недостаточное внимание к вопросу о становлении наклонений и их роли в древнейшую эпоху представляется досадным упущением. Если бы автор стремился создать строго синхронное описание этой категории, он был бы вправе в известные моменты абстрагироваться от истории. Но его работа — это историческое исследование, и отсутствие должной перспективы во многом затемняет картину.

Что касается методов анализа, то в своей рецензии на книгу Дж. Гонды¹ Е. Курилович справедливо отмечает, что хотя «традиционные формулировки заменены новыми... метод выработки определений мало изменился». Ведь если Дж. Гонда стремился установить общее, т. е. системное значение наклонений, то он должен был, как указывает Е. Курилович, прежде всего выделить те противопоставления, которыми определяется место каждого наклонения в системе наклонений, чего он не сделал. Е. Курилович полагает, что оптатив определяется двойным противопоставлением: 1) оптатив-императив, где оптатив характеризуется оттенком возможности, и 2) оптатив-субъюнктив, где оптатив имеет оттенок желательности, в отличие от субъюнктива (таким образом, снимается старый спор о первичном значении оптатива: «возможность или желательность»).

Попутно Е. Курилович приводит интересные примеры категорий, которые также определяются только двойным противопоставлением (греч. перфект: перфект-презент

¹ Kratylus, Jg. I, Hf. 2, 1956, стр. 123—130.

и перфект-аорист; или категория собирательности: собирательность-множественность и собирательность-единственность, ср. итал. *iova* — *iovi* и *iova* — *iovo*). Для субъюнктива наиболее важным является контраст с будущим временем индикатива, а также с опативом.

Второй рецензент, Г. Зайлер¹, хотя он и не совсем согласен с конкретными выводами Е. Куриловича (Зайлер полагает, что опатив противопоставляется претериту и субъюнктиву), также настаивает на необходимости определять категории, исходя из противопоставлений, в которых участвуют эти категории.

Иначе не удастся четко сформулировать устанавливаемые автором значения наклонений, и в формулировках остается много не совсем понятного и даже сомнительного. Вообще все изложение Дж. Гонды не отличается особой ясностью. Обширный материал подан несколько нестройно и подчас затрудняет понимание мысли автора, вместо того чтобы облегчать его.

Основное достоинство книги — это сам подход к определению значения категории: стремление установить ее общее значение, а не дробить его на сумму разнообразных употреблений. В книге собран большой лингвистический и библиографический материал, помогающий глубоко ознакомиться с вопросом.

И. А. Мельчук

H. Birkland. Growth and structure of the Egyptian Arabic dialect, «Avhandlingar utgitt av det Norske videnskaps-akademi i Oslo», II—Hist.-Filos. Klasse, 1952, № 1. — Oslo, 1952. стр. 1—57.

Небольшая работа Г. Биркланда «Развитие и структура египетского арабского диалекта» является удачным опытом применения структурального метода к изучению возникновения и развития одного из современных арабских диалектов. В ней рассматриваются следующие проблемы: 1) паузальное происхождение египетских арабских форм; 2) хронология развития египетского арабского диалекта; 3) ударение и количество гласного; 4) фонематическая система гласных; 5) фонематические дифтонги; 6) фонематические согласные. Этим проблемам и соответствуют основные разделы работы.

Во введении, останавливаясь на истории египетского арабского диалекта, начиная с появления арабского языка в Египте в результате исламского завоевания (VII в. н. э.), Г. Биркланд высказывает предположение, что классический арабский язык на определенном этапе своего развития явился источником всех современных арабских диалектов. Но окончательное разрешение этого сложного вопроса он считает возможным только после детального изучения основных современных диалектов арабского языка.

Во введении дается также краткая оценка ряда описательных работ, посвященных грамматическому строю арабского диалекта в Египте и сравнению его с классическим арабским языком. Но в отличие от предшественников Г. Биркланд видит свою главную задачу в выяснении структуры языка, послужившей в свое время основой для возникновения египетского диалекта, и истории ее развития вплоть до современного состояния. С этой целью рассматриваются две языковые структуры: с одной стороны, языковая структура классического арабского языка, известная нам по письменным памятникам, и с другой стороны, структура египетского арабского диалекта в его нынешнем состоянии. Но между этими этапами лежит относительно большой период времени — несколько веков. Если признать, что египетский диалект развился из классического арабского языка, то существующая в настоящее время разница между ними может быть объяснена только изменениями, которым подверглась данная языковая структура в процессе развития. Отсутствие письменных памятников, отражающих разговорный язык, делает эту задачу особенно сложной.

Единственным возможным путем исследования этого развития Г. Биркланд считает синхронное рассмотрение структур двух упомянутых языковых систем и установление определенных этапов, приведших структуру классического арабского языка к новому качеству — египетскому диалекту арабского языка. При этом для каждого этапа тщательно дифференцируются, с одной стороны, явления развивающиеся (продуктивные и отмирающие, окаменевающие), а с другой стороны, явления относительно стабильные, устойчивые. При изучении этого вопроса Г. Биркланд старается найти такое звено в цепи языковых явлений, которое может считаться основным в процессе развития языковой структуры, и останавливается на так называемых паузальных формах.

В классическом арабском языке слово может произноситься или слитно с последующим за ним словом — и в этом случае оно сохраняет свою обычную форму, называе-

¹ Там же, стр. 131—135.